

Ц в е т а е в а: Когда-нибудь меня спросят: что было в твоей жизни хорошего? И я не найду, что ответить. Только детство, глупое детство останется тем светлым воспоминанием, которое не изгладят ни война, ни голод, ни аресты... В одной редакции, пренебрежительно грубо: «Почему Вы думаете, что Ваше детство может быть интересно?» Я молчу, теряюсь в дверях. А про себя: «Потому что пробуждение крохотного человечка начинается не с азбуки и счета, как думается многим, а с душевной просьбы: мама, расскажи, какая ты была маленькая...»

И я рассказываю...

Не примеряя ни расстояний, ни места, помню только – черная кованая калитка (принимающая), фонтан, аллея. Цельно сшитое из впечатлений воспоминание-образ себя, маленькой, в большом мире людей, деревьев и дорог. Разряженные дамы и кавалеры, как приложение к дамам, прогуливаются картинно. Мамино желание и мое неумение попадать в заданный ритм (не попадала никогда: ни в музыке, ни в жизни). Рвусь из материнских рук к фонтану: гладь, неумемная, потому что в ней – солнце. Я бегу и солнце под ногами – бежит. После – расплата (знаю, помню, пренебрегаю). Полнота ощущений, счастливейший в жизни – миг. Сорвавшись с бордюра, несусь к матери. Рука за руку спешим, догоняем. Иное чувство – переживание другого, близкого. Не прикладывает руку, потому что с отцом Иловайские. И не они с нами, а мы за ними, но, конечно, не с ними. Мое «непопадание» – повод к ее осуждению. Я ради мамы, мать ради отца – терпим...

Потом еще, из ранних... китайские картинки... Они появились задолго до того, как стали совместным – одним на двоих – воспоминанием. Потому не в блюде, как помнит Ася, а в медном тазу, непременно вечером, когда зажигалась лампа. Круг: папина голова, мамина голова, Лерина голова, и ниже всех, то есть ближайшая к чуду – моя. Андрея не помню. Одно дело – делиться с родителями и Валерией, которую любила страстно, другое – с братом, уже потому старшем, что сын. Лучше – вовсе не делиться. Потому жду своего «наедине» с чудом, чтобы обладать лично, без свидетелей. Свойство детской души – не копить, но раздвигать образами-переживаниями пока еще тесные границы внутреннего мира, чтобы потом, щедрою рукою, раздаривать. Как мама. А пока раздаривать нечего – ревность к каждой мелочи, если только она – душа. Родители, выходя: «Лера, дай Мусе еще картинки» ...

И через все детство – музыка...

В одной рубашке, босая, на выстуженном полу – таюсь. Более воспаления легких боюсь грозы, какая разразится, застань меня кто-нибудь из близких. Внизу голоса: мягкий – папин, певучий – Лерин, приглушенный – мамин. Разговоры взрослые – я маленькая. Оживаю к Леринному пению. Мама аккомпанирует. Папа хвалит. Я (мысленно и горячо) хвалю.

В коридоре появляется Андрей и, подражая папиным интонациям, растягивает слова: «Ага, матушка, вот ты где... Все расскажу про тебя...» Уж не помню, какой грешок за ним числился, только брат мигом ретируется...

Дом полнится музыкой Шопена. Мамино любимое – мое любимое – роднит. (*Легкое исполнение одной из маминых мазурок: Op. 6, no 1 in F sharp minor, Op. 7, no 3 in F minor, Op. 17, no 2 in E minor.*) Наслаждение горчит страхом: и музыка, и голоса, и растерянный на верхних ступенях свет, меня укрывающий, все-все – краденное. Так, по-воровски, утверждаю свою причастность.

А было раз отважилась сойти. Удивленная мать: «Что же ты, Мусенька, босиком и не в постели? На руки? Как не стыдно, такая большая и на руки... Давай так договоримся: это будет первый и последний раз...» Тихо плывут голоса, меня одолевает сон. И мысль: «Этот – единственный, и никогда не повторится...» Вслух: «Я не сплю». Мать, поднимаясь в детскую:

«Спишь, Мусенька, я посижу с тобой, и ты совсем уснешь». А я знаю: лесной король – это сон, это он крадет меня у матери... Больше не повторилось...